

ВИЧЕНЦИО <И> ЦЕЦИЛИЯ ¹

<Фрагменты незавершенной повести>

Удивительно! Как я понимал каждый шаг свой и зашел так далеко! Как ясно видел свое положение и действовал, как ребенок! И теперь еще ясно вижу, а нет ни малейшей надежды исправиться.

(Гете в «Вер<тере>») ²

У окна келий в монастыре св. Бернарда сидел пустынный, погруженный в глубокую задумчивость. Без внимания глаза его были устремлены на печальные снега Альпов, его окружавшие — там было все однообразно, неподвижно, лишь изредка в нагих горах восставал ветер, шевелил мертвую лавину, медленно низвергалась она в бездонную пропасть, раздавался гул колокола, тронутого невидимой рукою, и снова наставала тишина могилы. Виченцио был уже не на заре лет, уже он давно достигнул того возраста, когда уравниваются все силы человека для бытия, яснее, рождается та деятельность души, которая стремится к подвигам высоким, — и наступает та торжественная минута, когда таинственная мысль предвечной жизни, присутствовавшая при рождении человека, является во всем блеске своего развития, минута — после которой постепенно вянут силы и их ослабление говорит о дне, когда человек делается уже бесполезным орудием в руках вседвижущего Бытия. Виченцио чувствовал, что годы, им проведенные, должен был назвать жизнью и еще спрашивал себя: что такое жизнь? Мысленно пробегал он свое земное странствование: в юности любовь к поэзии и живописи, возвышенные помыслы любознательности волновали и покоили его душу, в сладких сновидениях представляли ему будущее и поселили в нем гордость самосведения. Он постигнул ту силу, которая вырывает у Природы сокровеннейшие из ее таинств, волшебное сродство мысли с выражением было ему легко и понятно, и полотно оживало под его рукою, гармония чувства переливалась в звуки, и глубокие умозаключения предупреждали открытия человечества. Но люди не поняли его, и он не понял людей, они были к нему не равнодушны, но язык его был для них иероглифом, над которым смеялись дети и который презирали старцы. Он любил людей, с младенческим доверием бросался в их объятия — и отступал с ужасом, видя бездну, его от них отделяющую. И могущественное сомнение заковывало деятельность души его, как узкий сосуд сжимает ветвистые корни огромного дерева; оно сделалось для него докучливою болезнью. Смотря на изящное произведение, он начал спрашивать,

¹ ОР РНБ, ф. 539, оп. 1, пер. 13, лл. 53—54 об. с назв.: «Св. Цецилия», лл. 126—129 об., черн. автогр. (порядок листов в соответствии с последовательностью текста должен быть: лл. 127—129 об., л. 126); на л. 53 — карандашная помета Одоевского: «Начало святой Цецилии», на л. 126 — его же: «Из повести: «Виченцио, Цецилия». Середка»; там же, пер. 80, лл. 520—525 — «Глава 2-я», белой автогр.; лл. 526—532 — «Глава 4-я. Характер», белой автогр.; там же, пер. 9, л. 179 — черновой автогр. под назв.: «Старинная легенда»; там же, пер. 1, л. 154 и об. — черновой автогр., отрывок без назв. Нами принят второй, позднейший авторский вариант названия повести: «Виченцио <и> Цецилия». П. Н. Сакулин пользуется произвольным условным названием «Цецилия» (См.: Сакулин П. Н. Из истории русского идеализма. В. Ф. Одоевский. Мыслитель. — Писатель. Т. 1. Ч. 2. М., 1913. С. 12). В черновых автографах нами воспроизводится последний слой текста. Исправление явных описок специально не оговаривается.

² Эпиграф взят из русского перевода романа И.-В. Гете «Страдания молодого Вертера»: «Страдания Вертера». С немецкого Р.<ожаина>. М., 1828. Ч. 1. С. 108.

не безобразие ли это? Прислушиваясь к гармонии звуков — не шум ли нестройный? Погружаясь в смелые помыслы — не мечта ли больного воображения? Погас факел, освещавший путь его жизни, его окружили немые образы, под коими он тщетно хотел распознать то, что прежде называл красотой и безобразием, добродетелью и пороком! Уже он не знал, продолжать ли ему путь свой, совратиться ли с него, избрать ли дорогу других людей — в ужасе он смешал себя с ними и в сей толпе не узнавал виновного своего злополучия — он не мог ни молиться, ни проклинать людей.

Беззаботная жизнь инока, слепая покорность чужой воле, вспомоществование бессильному человечеству, непрерывная жертва духовного бытия — вещественные потребности показали ему единым прибежищем. Однообразные снега Альпов соглашались с его померкшим воображением — непроизвольн<ое> движение хладных лавин отвечал<о> мертвым бурям, вздымавшимся в пустыне его сердца. И подобно страннику, занесенному снеговым сугробом, он с сладострастием отчаяния следил, как мало-помалу свинцовым сном засыпала душа его.

Непроизвольное движение руки отшельника отделило часть скудных обоев, покрывавших стену его келий, и удивленным взорам его явился образ св<ятой> Цецилии. Благочестивый мастер — вероятно, один из учеников Альберта Дюрера, изобразил ее с тою древнею простотою, которая отражается в возвышенных произведениях Природы и искусства. В размышляющем взоре ее сияло то небесное спокойствие, которое так же отлично от земной тишины, как непрерывный восторг Серафима отличен от буйной радости Искусителя. Голубое покрывало обвивалось вокруг ее стана. Пальцы ее покоились на органах и казалось, в гармонии всех частей произведения отдавалась гармония звуков. Отшельник взглянул на нее — и отвернулся: «Поздно! — сказал он, — было время, когда бы ты приковала мое внимание — когда бы я, может быть, преклонил бы пред тобою колена и из творения стал бы выпытывать тайну Создателя. Теперь поздно! Восторги перегорели в душе моей — и во всем мире ей остался один предмет для удивления: я теперь одному только в мире могу удивляться: непонятному терпению или слабоумию человека, который сносит <?> этот отвратительный призрак, называемый *жизнию*».

Открытие Виченцио привело в движение весь монастырь; толпами собирались иноки в келию своего собрата и с нелепыми возгласами дивились красоте картины; одни говорили, что она написана предшественником Виченцио, другие утверждали, что то было явление, посланное Небом для утешения страдальцев. Один Виченцио не разделял всеобщего восторга и с язвительным равнодушием-спрашивал самого себя: в самом ли деле прекрасна картина? Если она прекрасна — то зачем она? Зачем прекрасное существует на свете? Оно не одна ли из тех насмешек, которыми Провидение дарит человека при его рождении?

Проходили день за днем — охолодело удивление иноков-художников; лишь некоторые в движении холодной набожности повергались пред образом Цецилии, ударяли себя в грудь и поспешно уходили, услышав голос, зовущий к трапезе.

Не так было с Виченцио. В тесной келий картина против воли беспрестанно была пред его глазами. Со временем она даже начала производить на него впечатление, которое было похоже на какое-то болезненное чувство, и однажды в досаде на свою слабость он вздумал завесить ее, но приблизился, и невольное чувство заставило его взглянуть на нее с большим вниманием — по непонятному влечению он сравнил небесное спокойствие, выраженное на лице мученицы, с безмолвною пустотою души своей — пораженный, он бросил покрывало и отступился с ужасом; что-то

прежнее зашевелилось в его сердце и смешивалось с каким-то новым, непонятным ощущением.

«Неужели я еще младе<не>ц, — восклицал Виченцио, — неужели еще что-нибудь в мире может привести в движение мою душу? Я инок, отлученный от света, я злополучный, изведанный всем, что есть в внешней и внутренней жизни мучительно-го — словом, я человек, — прибавил он с насмешливою улыбкою, — и смесь цветов, которые одна черта может разрушить, введет меня в прежний унижительный ребяческий обман!»

Отшельник не хотел более глядеть на Цецилию — но в часы, когда пламенные капли отчаяния падали на его мертвеющую душу, он невольно обращал взоры на образ Цецилии, и как бы целебный елей обливал измученную грудь его.

Долго боролся Виченцио с новым чувством, зародившимся в душе его, как борется страдалец, засыпавший сном смерти и силою искусства снова воззываемый к мучительной жизни, но жизни.

Нет! То было не минутное чувство, но своенравная прихоть расстроенного воображения. Он измерял каждый шаг свой — сомневался на каждом шагу, противоречил и тогда уже уступил жизни, когда все силы смерти истощились.

Мало-помалу созерцать св<ятую> Цецилию сделалось для него привычкою, необходимостью, страстию — жизнью... и дух воспрянул от сна... новым светом озарились для него все прежние помыслы и чувства... весь прежний мир, но в новом образе, предстал пред него. То он видел себя на бурном коне и с именем св<ятой> Цецилии на устах в равнинах Палестины кровию своею искупая свободу святой страны от ига неверных, то в сонме царедворцев мощною рукою двигал хитросплетенные колеса правления, то открытием новых таинств Природы или сильным выражением души потрясал человечество, и все помыслы он приносил на судилище Цецилии, делал ее свидетел<ьниц>ей всех потаенных чувств своего сердца, от нее требовал разрешения, когда сомнение западало в его душу — она присутствовала при рождении и развитии каждой его мысли, днем с горячею радостью смотрел на нее — а ночью молился пред нею.

Но недолго длилась эта минута блаженства: скоро ему стало мало того, что все, <что> было высокого, благородного, прекрасного в душе его, сроднилось с Цецил<ие>ю — в нем родилось безумное, но мучительное чувство или оживить ее, или самому обратиться в нее, словом, слиться с нею, быть с нею одним существом. Все

опротивело Виченцию. Науки, искусства, помощь страдальцам, молитва сделались для него мукою — но он уделял им время в безумной надежде, что своим совершенствованием он достигнет своей цели. И как в эпоху блаженства все прекрасное с новою силою повторилось в душе его, так теперь запылали все прежние его муки, и терзания смерти приняли образ жизни. Чаще в самозабвении он вперял взоры на прекрасный образ, с новою красотою в ней находил новые средства для своего мучения — слезы текучим огнем катились по щекам его, он ломал руки, взывал к нему, умолял его подойти к нему — или с адским хохотом начинал упрекать себя, смеяться над собою, но образ был безответен — по-прежнему пальцы Цецилии покоились на клавишах органа, по-прежнему она одним небесным спокойствием, непричастным страсти смертного, отвечала на буйные вопли страдальца, но это спокойствие уже не умирало, не покоило души его — оно жутким холодом обдавало его сердце, несчастный не имел даже отрады, которая не покидает и страдальца, прикованного к зубчатому колесу инквизиции — он не имел ни надежды, ни воспоминаний!

Тайна Виченция глубоко схоронена была в душе его — собратья его принимали его безумную страсть к образу св<ятой> Цецилии за обыкновенную набожность инока к чудному явлению или за пристрастие художника к произведению великого мастера — лишь иногда они удивлялись сильной скорби, которая врезывалась в лицо его и внезапно обращалась в дикую радость и язвительные насмешки над всем подлунным.

Однажды утром один из собратьев вошел внезапно в келию печального инока и с удивлением увидел Виченцию на коленях пред Цецил<ие>ю с палитрой в руке, с кистью в другой.

«Что ты делаешь, безумный, — спросил он его, — ты осмеливаешься смертною рукою прикасаться Небесного явления?»

Виченцию указал ему на пятно, которое как бы от сырости ли стены или от другой причины явилось на образе.

ГЛАВА 2-я

Сон бежал от глаз Виченция; когда, измученный в продолжение дня тщетным ожиданием, горестью, досадой, злостью, он бросался в постелью — не было для него успокоения. В темноте, при тишине ночи, он старался погрузиться в самого себя, в себе найти защиту против самого себя — тщетно! Он только сосредоточивал свои страдания, во глубине души его они казались ему еще яснее, еще живее, они увеличивались всею тою силою, которую придает человеку уединенное размышление — и изголовье вертелось под ним, и зубы скрипели, и язык лепетал проклятия всему подлунному. Когда сон на минуту и смыкал его вежды, тогда или нелепые, страшные образы представляли пред него, или чаще то был не сон, а летаргия горячки; ничего не являлось ему, но по сердцу его тянулось, как непрерывный стон больного, то смутное, грустное, неопределенное чувство, которое ощущал он в продолжение дня, устремив глаза на Цецилию, умоляя у ней слова, взора; он во сне ощущал ту же тяжкую, глухую боль, когда, облитый огнем, он стоял пред холодной картиной, когда грудь его была готова вдребезги разбиться от полноты чувств и мыслей — и он не мог вымолвить ни слова, не мог поделиться ни одним чувством! Тяжкая, тяжкая боль!

Но однажды явился Виченциу сон странный, несбыточный! Ему казалось, что он по-прежнему стоит пред образом Цецилии, любясь и досадуя на ее возвышенное спокойствие, прислушиваясь к небесной гармонии души ее, как вдруг ему почудилось — мечта, обман измученною сердца! — что какое-то чувство... чувство сожаления мелькнуло в спокойном взоре Цецилии; как святым миром оно обдало больную его душу, и он впервые вздохнул без мучения, как страдалец, на которого впервые после долгой болезни находит оживляющий сон; в сладком умилении простирает он руки — смотрит: взор Цецилии обратился на него, она отделяется от стены, пальцы ее приподнялись над клавишами органа, прелестная ножка скользит на плите уединенной келий — и все смешалось, исчезло...

Виченциу видит себя в Венеции. Бурлит Адриатика, готические своды разгибаются в волнах, черные гондолы ныряют в каналах — вокруг него бледные, испуганные лица, слышатся слова: зараза, язва, — говорят о страданиях, о смерти. Сестра милосердия в серой рясе быстро проходит мимо Виченция — дрожь пробежала по его телу.

— Цецилия! — воскликнул он. Она обернулась, прелестный взор блеснул из-под покрывала. — О, не спеши, Цецилия, дай мне наглядеться на глаза твои, дай мне напиться твоим дыханием.

— Оставь меня, не говори мне того, чего я не должна слушать. Иноку ли приличны твои слова? Св<ятая> Церковь разделила нас бездною, между мною и тобою твой святой долг — и мой!

— Цецилия, Цецилия! Не употребляй таких выражений — они гложут мне сердце, — они мне непонятны в твоих устах! Скажи лучше, что ты ненавидишь, что ты презираешь меня, что ты смеешься над моим страданием — я скорее пойму тебя! Выслушай, Цецилия: я тебя знаю не день и не два, я тебя знаю и люблю в продолжение нескольких лет и с каждою минутою узнаю и люблю тебя более. Я не говорю с тобою, ты не отвечаешь мне, но ни одно твое движение, ни одно чувство, ни одна твоя мысль не укрывается от меня; мне довольно одного твоего взора: к нему обращаю всю деятельность души моей, его спрашиваю, ему отвечаю. Я знаю, Цецилия, тебе понятны благородные чувства, возвышенные мысли — могу ли же я убедиться, что ты не веруешь в тот вечный непреременный закон — не тот закон, который изменяется с каждою полоскою земли и с каждым годом, но тот постоянный закон, который движет и вселенную, и мир мыслей, который непонятными путями сводит людей, разлученных пространством, и соединяет их души для таинственной цели! Неужли я могу подумать, что ты не хочешь и слышать о сем неодолимом Властелине (говорю: неодолимом, ибо он есть Суций, qui est *, а не кажущийся только, как законы людские) — и идолопоклонствуешь пред алтарями которые каждый день людские предрассудки воздвигают и опрокидывают? Скажи лучше — ты презираешь меня!

— Еще раз, иннок, — я не могу и не должна тебя слушать... прощай — долг мой призывает меня...

— Куда спешишь ты?

— К постели страждущих.

— Но там зараза, там смерть ожидает тебя.

— Смерть не страшна мне. Неужели жизнь стоит того, чтобы об ней заботиться и к мелочным ее занятиям прибавлять мелочный страх.

— Ты не боишься смерти, Цецилия, ты смотришь на нее даже с улыбкою. Но слушай: неужли ты думаешь, что мне сладко мое страдание, что я бы также не умел умереть? Одна минута и ежеминутное терзание — кто тут задумается? Но я хочу жить, Цецилия, хочу действовать, хочу быть достойным тебя, хочу испытать, не дала ли нам Судьба минуты блаженства, хотя для того, чтобы мы живее чувствовали страдание, хочу тебя научить этому блаженству, тешить твое воображение, лелеять твою душу, хочу об

* Кто существует (фр.).

руку с тобою стремиться по стезе совершенствования и деятельности! Не говори мне о цепях моих: смутная прежде надежда, что они скоро спадут с меня, с каждым днем делается яснее и яснее, и когда ты не будешь ожидать этого — вдруг ударит час моего освобождения! И чего не может человек сделать, когда он захочет? Все, все подвластно твердой воле человека, все — кроме собственной души его, ибо душа, всемогущая над ее окружающим, сама в свою очередь подвластна Всеизидущей Силе, которая, незаметно для нее самой, насылает на нее мысли, чувства, намерения, невольные побуждения! Но ты не слушаешь меня — ты стремишься, ты хочешь смерти. О! Если так, Цецилия! Ты знаешь: жизнь без тебя мне непонятна! Умрем же вместе, но дадим друг другу слово, что оставшийся в живых придет к постели умирающего, туда, где исчезают бранные приличия жизни, где умолкает в сердцах самих простолюдинов голос суетных законов, изобретенных людьми для собственного страдания! С сей минуты, во имя Всевышней Силы, возносящейся над всеми однодневными людскими мнениями, я торжественно обручаюсь с тобою; я приношу тебе в брачный подарок жизнь мою, цель моих помышлений, весь жар чувств и всю умственную деятельность, которою одарила меня Природа! С сей минуты — ты моя невеста и никому не можешь принадлежать более!..

— Мечта твоего воображения! Я не боюсь смерти, но и не ищу ее. Может быть, я хочу жить — но не для тебя.

— Не для меня, Цецилия, не для меня? Так знай же: какое бы пространство не отделило меня от тебя, буду ли я влачить по земле убитую жизнь или, измученный тобою, сойду в раннюю могилу — ты не забудешь меня! Не сердись на меня за это — так! Тебе нельзя будет, хотя бы ты и хотела, забыть человека, который в продолжение нескольких лет каждый день засыпал и просыпался с одною мыслию — *ты*, который против воли твоей приковал тебя к каждой мысли своей, к каждому чувству, к каждому действию, для которого ты единственное страдание, единственное блаженство, для которого ты все: поэзия, добродетель, религия! Нет слов выразить, как крепко привязан к тебе малейший признак моей жизни, малейшее биение нерва! Когда я долго не вижу тебя, мысли мои вянут, бродят, не соберу их, чувства гаснут, душа погружается в хладный — в *преступный* сон! Я в то время похож на человека с оторванными членами — я чувствую в себе голову, сердце, но они оцепенели, не действуют, не гнутся, а только страдают. Один взор твой — и снова сердце забьется в груди, и душа загорится, и мысли движутся, и молодая деятельность заклокочет в жилах, я мышлю, я чувствую, я учусь, я произвожу, я живу, я действую! Убей же эту душу, Цецилия, убей ее! Но тогда — тогда и жизнь, и смерть моя будут для тебя упреком! В сей жизни или будущей ты ужаснешься, увидев мою убитую душу, ужаснешься более, нежели когда бы увидела мое убитое тело. И знай — где бы ты ни была, что бы с тобою ни было, я, почуяв приближение смерти, приду умереть у ног твоих — там будет моя смертная и брачная постель! За все мои страдания я сохраняю себе только эту награду. И может быть в те часы, Цецилия, — и они будут нередко — когда возвышенная душа твоя, наскучив цепями людских законов, вознесется отдохнуть в сферу Предвечной Истины, ты там не найдешь покоя! В пустыне души твоей тебя встретит позднее раскаяние: зачем одним взором, одним словом ты не отвратила разрушение сосуда, в котором, может быть, скрывались и высокие замыслы, и благородное самоотвержение, и неустояющая деятельность и которому, может быть, суждено было оставить какой-нибудь след на пути жизни! О, не оскорбляйся моими словами, Цецилия! Ты не можешь, ты не должна оскорбляться моим святым, чистым, невинным к тебе чувством! Я не требую от тебя ничего, кроме — взора, слова, пожатия руки — надежды...

ГЛАВА 4-я ХАРАКТЕР

Не одна Цецилия — их две: природная и искусственная. *Природная* — имеет сердце чувствительное, воображение пламенное, мысли, чуждые обыкновенных предрасудков, она независима, нетерпелива, любит задумываться, больше молчать, нежели говорить; *искусственная* — скрывает сердце, прячет воображение, боится мыслей, удаляющих от общих мнений, не только покоряется приличиям, но даже раболепно за ними следует и оттого иногда терпелива до самоотвержения, оттого говорит много и часто без участия головы и сердца в словах ее. Такая противоположность неудивительна; она бывает более или менее во всяком человеке. Вообще характер каждого человека есть соединение его природной организации с обстоятельствами, в которые ставит его место, им занимаемое между другими людьми. Мимоходом будь сказано: в *идеальном*, или лучше сказать, *естественном* состоянии общества (ибо эти два выражения для меня однозначущи) сии обстоятельства, или условия общества должны быть таковы, чтобы каждая природная организация находила себе место действия и развития; чтобы каждый человек находил самого себя в обществе как в увеличительном зеркале, ибо общество есть тот же человек, но только в увеличенном виде. *Жить сообразно своей природе* — есть цель всех тварей от человека до кристалла; к ней подвигается общество в продолжение веков, к ней старается приблизиться каждый человек во время своей жизни, понимая ли это чувство или не понимая его; от большего или меньшего приближения к сей цели зависит то, что человек называет счастьем или несчастьем. Жизнь совершенно противоположная природе человека невозможна; оттого смерть души, смерть тела. Этого нечего доказывать — эта истина ясна и очевидна: она ежеминутно совершается пред нашими глазами во всех явлениях природы. При нынешнем несовершенном состоянии общества совершенное достижение цели жизни невозможно; оттого беспрестанная борьба между природною организациею человека и условиями общества, в которых он находится; перевес бывает то на той, то на другой стороне — в обоих случаях человек несчастлив: или природная его организация сжата условиями общества, и он находится в напряженном, неестественном состоянии, или он дает волю своей природной организации, то есть силится войти в свое естественное состояние и оскорбляет общество, которое за то гонит его, то есть препятствует ему пользоваться выгодами, производимыми обществом. Замечают, что с большим развитием идей человек сделался несчастливее: это естественное дело; люди действительно теперь несчастливее, как больной несчастливее в то время, когда понял свою болезнь, нежели в то время, когда не понимал ее — может быть, это признак выздоровления. Но это посторонняя материя; я распространился о ней для того только, чтобы объяснить яснее мою мысль. Замечу еще, что под условиями общества я разумею все, что составляет внешнюю жизнь человека, как то: воспитание, родственные отношения, светские приличия, условия брака, занятия, распределение времени и прочее тому подобное.

Итак — между тем как длится эта борьба между природною организациею человека и условиями общества, жизнь проходит; в продолжение жизни человек совершает действия, повинуюсь сим двум силам, им управляющим; сумма сих действий составляет то, что называется характером человека.

Таким образом должен был образовываться и характер Цецилии, хотя, быть может, она и сама не замечала того. Она родилась с сердцем мягким, чувствительным, добрым даже до слабости. Я уверен, что в раннем детстве сестры обожали ее, но это продолжалось недолго; люди с таким сердцем рано испытывают несправедливости от других людей, а чувство несправедливости развивает умственные способности; Ц<ецилия> рано поняла свой ум и свое превосходство над окружающими ее; она рано

заметила, что одна ее уступчивость заставляла ее переносить несправедливость, и замыслила придать себе несколько искусственной твердости. Между тем пришел период чтения: она читала с жаром и читала все, без разбора; переходя от книги к книге, от мнения к мнению, она хваталась за каждое с жаром — до нового мнения. Скептицизм, недоверчивость к самой себе, естественная, необходимая в каждом недюжинном человеке, увеличил<ись> в ней от беспорядочного чтения. Между тем отношения с людьми, ее окружающими, умножались, и она очутилась в странном положении: внутренне недоверчивая к своим мнениям, она приняла наружность доверенности к самой себе, ибо поняла, что только сим видом доверенности к самому себе человек может приобрести то влияние над окружающими, которым он защищается от их несправедливости и деспотизма. Успехи ее в сем случае и чувство сознания своего превосходства утвердили в ней самолюбие, естественно находящееся в человеке с ее душою. В эту эпоху жизни Цецилии должны были происходить разные странные явления: несмотря на свою наружную гордость и неприступность, она и по внутренней недоверчивости к самой себе, и по сердцу, способному любить сильно, ощущала непреодолимую потребность привязываться; из людей своего пола она любила немногих, но любила с жаром; я уверен, что она несколько раз в жизни была влюблена не потому, чтобы в предметах своей любви она находила нечто соответствующее ей — нет, она дорисовывала их пламенным своим воображением, и, может быть, часто впоследствии удивлялась своему заблуждению. И не мудрено! Способная чувствовать все великое, прекрасное, бескорыстное — она привязывалась ко всему, где видела что-либо подобное прекрасным потребностям души своей. Я сказал: воображение; да! оно играет или по крайней мере играло важную роль в характере Цецилии. Оно бы даже могло погубить ее, если бы она в окружающих ее не заметила сию способность, доведенную до крайности; она поняла, что воображением не победить воображения других, и ежеминутно, по обыкновенному ходу вещей, входя более и более в родственные и общественные отношения, она увидела необходимость наложить крепкую узду на свое воображение и не выпускать его наружу; еще большую увидела она необходимость утвердиться в твердости своих мнений, в непреклонности своей воли; не знаю, посредством ли размышления или по какому-то инстинкту, ей самой, может быть, непонятному, но Цецилия заметила, что для того, дабы иметь оборону от деспотизма окружающих, не довольно иметь только твердую волю, но что надобно иметь: 1-ое — точку опоры (*un point d'appui*) и 2-ое — что эта точка может быть лишь в строгом исполнении общественных приличий, условий, обязанностей. Она заметила (повторяю, что не знаю, по размышлению или по инстинкту), что такого рода добродетель понятна для толпы и может давать над толпою влияние. Но зачем ей это влияние? О! причина понятна! Само собою разумеется, что в сие желание вмешивается и немного самолюбия, производимого чувством собственного достоинства; утверждается сие желание несколькими опытами, что власть Цецилии над окружающими ее нужна для счастья и спокойствия их самих; но главное чувство, произведшее сие желание власти, может быть, скрывшееся от самой Цецилии, есть естественное в ней чувство независимости: строгим исполнением мелочных обязанностей света она выкупает для себя право на несколько свободных чувств и мыслей, на несколько расчисленных движений; словом, она, как военачальник, ставит непреклонность своей воли, свою покорность светским обязанностям, как передовую стражу для того, чтобы иметь минуту независимого уединения. И вся жизнь ее проходит в сих стратегических движениях! Теперь они сделались для нее привычкою, а привычка их сделала чем-то необходимым, священным; и иногда в сем занятии она забывает и о цели, для которой предприняла его! Жизнь мелкая, ничтожная, недостойная Цецилии! Жизнь падающего Серафима! Ибо: «Не подниматься тоже падать», — писал мне один из друзей, браня меня за литератур-

ное бездействие, — и это совершенно справедливо. Как можно жить в беспрестанно напряженном состоянии? Цецилия принадлежит к тем людям, у которых внутреннее чувство говорит сильно и не повинуется системам, которые слушаются сего чувства — а она против всех впечатлений вооружена какою-то холодной твердостью, которой от роду не бывало в ее природе; воображение ее кипит, а она взвешивает все на весах холодной, благоразумной системы; сердце ее бьется при каждой новой, сильной мысли, при каждом бескорыстном, истинном чувстве — а она рассчитывает: эта мысль, это чувство не нарушат ли немецкого порядка ее жизни? Этого мало: беспрестанно повторяя себе: «Я должна быть неуступчива, холодна, без воображения», — она вообразила себе, что она в самом деле такова — и увы! — едва ли такое напряженное состояние не приняла за идеал совершенства, за истинную добродетель, к совершенному достижению которой ей надлежит беспрестанно стремиться, заглушая внутренний голос. Но Природа жестоко наказывает ее в сей жизни: Цецилия часто недовольна собою, она боится своих мыслей; ее напряженное состояние давит ее, и когда внутренний голос сильно разговорится в ней, она ищет рассеяния в былом, беспорядочном чтении, ищет забвения даже в светской рассеянности, и это состояние души ее все глубже и глубже затягивает ее в тину светских приличий, отношений и предрассудков. Цецилия не боится ли, чтобы и чистая небесная душа ее не занемогла от этого нечистого прикосновения? Чтобы беспрестанно задушаемая деятельность души ее прорвала себе неожиданную дорогу и не обратилась на какой-нибудь недостойный предмет? Смотри, вот уже что происходит с тобою: твоё наблюдение за сохранением светских или общественных обязанностей и приличий тебе кажется занятием столь важным, что ты уже считаешь его чем-то священным; это занятие отнимает у тебя время и нравственно, и физически — и ты забываешь о цели человека: *беспрестанном совершенствовании*; многие части природы тебе неизвестны; от недостатка сих сведений ты можешь сделаться близорукою, быть перегнанною твоим веком, а ты позволяешь себе *лениться*, а ты боишься погружаться во глубину твоих мыслей и чувств и многие из них умирают до рождения, и во многих из них ты не отдаешь себе отчета. Этого мало: ты заметила, что всякий слушает тебя с удовольствием, что всякий находит наслаждение говорить с тобою — твоему самолюбию нравятся эти легкие успехи, они потворствуют твоей лени, но ты не заметила, что в них нет ничего удивительного, ибо ты потратила на них значительную часть деятельности души твоей. Если не ошибаюсь, — ты часто сии успехи растолковываешь совсем иным образом, более приятным твоему самолюбию; ты видишь часто какое-то пламенное или нежное чувство там, где действует лишь желание нескучно (*avec intérêt* *) протянуть время, столь тяжкое в гостиных, или желание — сказать ли? — на тебе испытать действие чувства, производимого в других женщинах. А на что это похоже, Цецилия? Ты ужаснешься, когда подумаешь! Я не могу тебя обманывать! нет! — твоя душа может быть понятна, как твоя наружность может быть привлекательна только для немногих и для весьма немногих. Не обманывайся! Светский демон тебя осетил.

О! Отмолись от него и не продай ему совсем души твоей. Другая, высшая цель предстоит для прекрасной души твоей. Но достигнуть ее можешь, лишь омывшись от грехов твоих. Кидай иногда лепту на алтарь светских предрассудков, но не отдавай всей души твоей на закланье Идолу — он не поймет этой жертвы, а только душа твоя распадется на безобразные части. Лишь одно сильное чувство, достойное своего предмета, — кто бы он ни был — может связать сии части и возбудить их могущественную деятельность, как один сильный, постепенный труд может соединить в гармоническое целое несвязные части твоих познаний. Иначе погибнет твоя душа и придет позднее раскаяние!

* Интересно (фр.).

СТАРИННАЯ ЛЕГЕНДА

«Еще! еще! — и все идешь ты, неумолимый! Что тебе нужна, что с каждым мгновением ты уносишь и радость, и страдания, ты равнодушно стучишь для того и другого — ты отмечаешь каждое болезненное движение души, как будто для того, чтобы оно не забылось! — для тебя восторг, скорбь, надежда, отчаяние — все лишь промежуток между двумя минутами!»

Так говорил один из страдальцев мира, прислушиваясь к однообразному стуку маятника.

Вот уже глубокая ночь, отшельник невольным движением отворил окно — бледные звезды тонут в тумане, всюду мертвая тишина, тяжелый сырой воздух теснит дыхание, на душе и тяжело, и страшно — отшельник с досадой захлопнул окошко.

Он был уже не на заре жизни, уже он достигнул того возраста <...>

<ОТРЫВОК БЕЗ НАЗВАНИЯ>

<...> — Или, может быть, чтобы умерить огонь моего рвения, близкого к земной страсти? Так! Антонио — я обо всем этом думал, но слушай, что со мною случилось. Я уже давно замечал это пятно и боялся замечать его — но сегодня ночью приснилось мне, что я по обыкновению со всем жаром сердца молился перед св<ятою> Цецили<е>ю. Она, казалось, с сожалением смотрела на меня, небесная улыбка была на лице ее, и от органа неслись в воздух волшебные звуки — вдруг глаза мои устремляются на это пятно, смотрю, оно растет, увеличивается и мало-помалу черною пеленою покрывает и позлащенный орган, и голубое покрывало, и, наконец, улыбку и самый взор Цецилии — раздался нестройный звук как бы от разрушенного органа, и все исчезло — ужас сковал меня * — не видеть Цецилии, быть без нее — эта страшная мысль не приходила мне доселе в голову; я не понимаю ее — с Цецилией соединена больше, чем жизнь моя, больше, чем душа моя — волосы встали дыбом на голове моей, дрожь пробежала по всему телу, я вскочил с постели, бледный трепещущий, с страхом в сердце, и первое мое движение было — взяться за кисть...

О! Св<ятая> Цецилия простит меня — я верю, верю всей силой души моей, что я не успею прикоснуться к ее божественному образу, и ненавистное пятно исчезнет, как призрак.

Виченцио в сладкой муке преклонил пред нею колена.

* Далее над строкой — не зачеркнутая, но не завершенная правка (начинается словами: «я терзался <?> — но эти терзания <?> сделались моей жизнью» <...>), не дающая последующего связного текста. — М. Т.